

Глава IV

Литературные сборища по утрам у г. Краевского. – Барон Розен, Якубович, Владиславлев с «Утреннею зарею», Гребенка, Вернет, Степанов, Струйский и другие. – Появление Бенедиктова, – Чтение «Хеверы». – Соколовский. – Воейков. – Литературный вечер у меня. – Знаменитый обед, данный Воейковым при открытии новой типографии. – Русская пляска.

Все почти известные тогдашние литераторы, за исключением Кукольника и литературных аристократов, принадлежавших к пушкинской партии, собирались у нового редактора «Литературных прибавлений» раз в неделю, по утрам. Из них выдавался более других барон Розен, с которым г. Краевский сблизился у Брянского. Розен принимал деятельное участие в «Литературных прибавлениях» при их начале и напечатал, между прочим, в этой газете статью о представлении «Отелло», в которой отозвался восторженно о таланте дебютантки, выполнявшей роль Дездемоны. Барон Розен, соперник и враг Кукольника по драматическому искусству, был безусловным почитателем Брянского и не любил Каратыгина, вероятно потому, что Каратыгин не совсем лестно отзывался об его драмах и считал Кукольника великим драматургом. Кукольник же, в свою очередь, отзывался о Каратыгине как о великом, гениальном актере.

Барон Розен был уверен в том, что он глубокий и единственный в России знаток драматического искусства и величайший драматический поэт. Он очень наивно говаривал нараспев и с резким немецким акцентом:

– Из всего немецкого репертуара, без сомнения, самая замечательная вещь – это «Ифигения» Гете. Ее мог бы перевести один Жуковский и то только под моим руководством.

Впоследствии он гордился тем, что, когда Гоголь на вечере у Жуковского в первый раз прочел своего «Ревизора», он один из всех присутствовавших не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся, и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом и во все время чтения катался от смеха.

В мнении о «Ревизоре» два драматических врага – Кукольник и Розен, ни в чем не сходящиеся, сошлись совершенно.

Раздражаемый неуспехом на сцене своих драм и успехом Кукольника, барон Розен горячился, выходил из себя, доказывал, что он настоящий драматический поэт, что Кукольник не имеет ни малейшего понятия о драматическом искусстве; что его, Розена, оценит потомство, и так далее.

Такова была любимая тема всех его разговоров. Все в глаза соглашались с ним и поддакивали ему, а за глаза подсмеивались, как это обыкновенно водится.

Якубович, писавший посредственные стишки, довольно звучные, но без всякого содержания, пользовался, однако, между журналистами и издателями альманахов значительною известностью. Без его стишков не обходился почему-то ни один журнал, ни один альманах. Надеждин рассказывал мне впоследствии, что, когда он был издателем «Телескопа», фактор типографии, в которой печатался этот журнал, явился к нему однажды с просьбою дать ему оригинала на полстранички для замещения пробела.

– Как быть? у меня нет ничего такого, – отвечал Надеждин.

– Да нет ли хоть Якубовича на затычку? – возразил фактор.

Надеждин отыскал стишки Якубовича, и они с тех пор всегда шли на затычку.

Якубович не имел ни малейшего образования и отличался редкою наивностью.

Кто-то из журналистов отозвался не слишком благосклонно об его стихотворениях. Якубович с негодованием жаловался мне на это...

– Я всегда был с ним в самых хороших, приятельских отношениях, – говорил он, – я ничего ему дурного не сделал, всегда давал ему свои стихи, а он вдруг так, ни с того ни с сего, обругал меня... Ведь согласитесь, что это подло?

– Почему же? – отвечал я, – ведь он не вас обругал, а нашел кое-какие недостатки в ваших стихах. Может быть, он и ошибается, но он высказал об них свое мнение... Нельзя же сердиться за это.

– Нет, – возразил Якубович, – по-моему, если уж приятель, так действуй по – приятельски. Я о приятеле никогда дурно не отзываюсь... Что вы ни говорите, это подло.

В другой раз Якубович жаловался мне на Карлгофа, у которого были литературные вечера с ужинами.

– Нога моя не будет у него в доме, – говорил он, – представьте себе, что он выдумал. Он за Кукольниковом ухаживает, за ужинами сажает его возле себя и ставит перед ним дорогой лафит, а меня на конец стола, где стоит медок от Фохтса по 1 р. 20 к. Что же это такое? Ведь это гадко, согласитесь.

Однако, несмотря на это, он продолжал посещать ужины Карлгофа и не пренебрегал медоком Фохтса, потому что любил выпить, и пил без разбора все даровое, попадавшееся ему под руки.

Якубович от литературы не получал ничего, потому что тогда не только за стихи, да и за прозу платили только немногим избранным, и кое-как поддерживал свое существование уроками русского языка.

Говорят, будто бы, когда он умирал на чердаке в коморке в Семеновском полку, к нему пришло известие о смерти его дяди, который оставил ему в наследство более трехсот душ. Как оскорбительно насмеялась судьба над бедным поэтом!

Владиславлев, написавший несколько сантиментальных и военных рассказов, почти никем не замеченных, приобрел себе в литературе некоторую известность своей «Утренней зарей» и через эту «Зарю» завел знакомство с разными литераторами. Воспользовавшись ловко местом своего служения, он распространял свое издание в довольно значительном количестве. Большинство приобретало этот альманах по предписанию жандармского начальства, которое, в противоречие своим принципам, возбуждало таким образом интерес к литературе в русской публике.

Все литераторы очень хорошо знали, какими средствами расходуется «Утренняя заря», но такая спекуляция никого не смущала и казалась всем очень обыкновенною и понятною.

Владиславлев ничего не платил за статьи и поэтому приобретал от своего альманаха довольно значительные барыши. Он стал жить открыто и завел даже разные прихоти для удовлетворения своего тщеславия. Он собрал между прочим акварельный альбом из рисунков Брюллова и других знаменитых художников, который стоил ему больших денег. У кого теперь этот альбом?

Владиславлев имел характер грубый, и беззастенчивость его в обращении доходила иногда до наглости. Вместе с расширением своего тела и своих средств он принимал все более важную осанку и обнаруживал крайнее самодовольствие. Он даже начал поглядывать на литераторов, способствовавших так бескорыстно к увеличению его средств, покровительственно. Это отчасти происходило, вероятно, оттого, что он очень гордился своею должностью.

С г. Краевским он сошелся очень близко и, говорят, при начале «Отечественных записок» способствовал их распространению через III отделение. Это очень забавно, если справедливо, потому что впоследствии то же III отделение скупало «Отечественные записки» и предавало их ауто-да-фе.

Гребенка, отличавшийся большим добродушием и очень любивший угощать изредка своих приятелей киевским вареньем и малороссийским салом, был любим всеми литераторами. Для журналистов он был необходим, потому что повести его и рассказы очень нравились большинству читающей публики...

К числу посетителей литературных утренников г. Краевского, кроме лиц, упомянутых мною, Каменского, Струговщикова, Струйского (писавшего под псевдонимом Трилунного) – господина с грязным и циническим направлением – и некоторых других, о которых я забыл, принадлежал молодой человек, появившийся в первый раз в «Литературных прибавлениях» под псевдонимом Бернета с стихотворением, которое, если я не ошибаюсь, называлось «Вечерни» и было всеми замечено, даже Белинским, который отозвался об этом стихотворении в «Молве» или в «Телескопе» с большою похвалою.

На Бернета стали смотреть как на человека, возбуждающего надежду. Это была одна из той сотни литературных надежд, которым – увы! – не суждено было сбыться.

Н. А. Степанов, всегда любивший литературу и постоянно поддерживавший связи с литераторами, посещал также г. Краевского... Степанов наблюдал все комические явления из литературной жизни и набрасывал по временам очень ловкие карикатуры из этой жизни, независимо от своего альбома из жизни Брюллова, Кукольника и Глинки.

Я со всеми упомянутыми здесь лицами был уже в коротких отношениях. С г. Краевским я виделся почти каждый день.

Однажды утром, когда я заехал к г. Краевскому, он сказал мне, что вечером меня зовет к себе Бернет, что у него будет автор «Мироздания» Соколовский, написавший превосходные поэмы, и что он хочет прочесть одну из них. – Приходите ко мне. Мы отправимся вместе, – прибавил г. Краевский.

Часов в 7 вечера мы были уже у Бернета (в доме Фридрихса у Владимирской церкви).

Бернет познакомил меня с Соколовским. Соколовский был человек средних лет, небольшого роста, с темными коротко подстриженными волосами; в его лице выражалось что-то болезненное и страдальческое. На нем был истертый сюртук, застегнутый на все пуговицы. Он начал с печального рассказа о перенесенных им страданиях в сыром каземате, с потолка которого капала сырость и стены которого были усыпаны клопами.

Соколовский после окончания курса в Московском университете недолго пользовался свободой. На студенческой пирушке Соколовский и его товарищи вели себя в пьяном виде неосторожно и неприлично, говорили какие-то речи и были захвачены полицией. Кроме того, Соколовский был обвинен в сочинении какой-то песни, которая пелась на этой пирушке.

Заточение Соколовского продолжалось, кажется, лет шесть. Хотя он был очень крепкого телосложения, но такое долгое пребывание в сыром клоповнике совершенно разрушило его здоровье. Он искупил страшными болезнями и страданиями минутные заблуждения и увлечения своей молодости. Во все время 6-летнего своего заключения у него была одна только книга – Библия. Она произвела на него глубокое впечатление, которое отразилось во всех его сочинениях, написанных после «Мироздания».

Соколовский не имел истинного поэтического призвания, к тому же долгое заключение разрушило не только его тело, но убило и дух. Он впал в мистицизм и запил с горя.

Он прочел нам отрывки из своей странной драматической поэмы под названием «Хеверь». Поэма эта издана была впоследствии в 1837 году. В ней 244 страницы, разделяется она на три части, которые называются: первая – «Болезни и Здоровье», вторая – «Страсти и Чувство», третья – «Ветхое и Новое». Для того чтобы дать об ней некоторое понятие читателю, я приведу здесь из нее два отрывка: из начала и из конца.

В начале поэмы Дедан, верховный сатрап Ахшверуса, царя персов и мидян, так описывает красоту героини поэмы – молодой еврейки, дочери Аминадаба, невесты царя и потом его супруги:

...Я не встречал, чтобы в одно созданье
Так много бы сливалось красот!..
Уста – как пыл, слова ее – как сот,
Огнистый взгляд – заманчив, как желанье,
И вся сама: как лилия – стройна,
Свежа – как сад, как облако – пышна,
И так дыша, как дивно дышит Саба,
Она собой, чудесная она,
Как лето – жжет, и нежит – как весна,
Вот какова та дочь Аминадаба!..

В заключение поэмы Хеверь, взяв за руки царя Ахшверуса и своего воспитателя Асадая, произносит:

Пойдемте же, пойдемте, как друзья,
Как добрые и близкие родные,
На сладкий пир красот и чистоты,
Где вокруг столов живящей благоты
Кипят ключом отрады неземные
И разлиты восторги – как моря!..
Да!.. Поспешим на светлый пир царя.

* * *

Чтоб, весело оконча здешний путь,
Нам у него в чертогах отдохнуть
И радостно при свете наслажденья
Субботствовать в объятиях любви...
Становясь на колена.
А ты, творец, – ты нас благослови!..

(Ахшверус и Асадай в невольном благоговении поспешно кладут к ее ногам свои короны, так что они с короною Хевери составляют треугольник...)

Г. Краевский слушал поэта с глубокомысленным вниманием, уставив на него свои выразительные глаза. Он прерывал изредка чтение отрывистыми похвалами.

– Превосходно, славно, – повторял он, – каждый стих пропитан библейским духом... Удивительно!

Когда мы возвращались домой, г. Краевский сказал мне:

– У! это, батюшка, замечательный талант, замечательный! Какой оригинальный стих – то, – чудо! Соколовский весь пропитан библейским духом.

Я согласился.

«Хеверь», однако, к удивлению нашему, произвела на всех тяжелое и неприятное впечатление, несмотря на то, что многие заранее прокричали о ней как о чуде. Едва ли этой «Хевери» разошлось до десяти экземпляров.

Один мой знакомый, которому я наговорил бог знает что о таланте Соколовского, взял у меня его поэму, пробежал ее и, возвращая мне, сказал:

– Знаете, теперь уже никто не будет говорить: какую ты порешь дичь или галиматью, а какую хеверъ ты порешь.

Соколовский вдруг упал с пьедестала, на который неосторожно вознесли его. Неудача его «Хеверы» совершенно убил его дух; он совсем опустился и все чаще и чаще начал появляться в нетрезвом виде.

Одно лето я жил с г. Краевским на даче в Лесном институте. Раз вечером собрались у нас кое-кто из литераторов. Явились, между прочим, Соколовский с Якубовичем. Подали чай и к чаю маленький графинчик с ромом. Через час после этого чая Якубович и Соколовский оказались вдруг, к удивлению нашему, совсем нетрезвыми... Чем и когда они могли напиться? Графинчик с ромом оставался почти нетронутым. Лакей наш объяснил нам потом, в чем дело. Якубович и Соколовский достали сами из буфета бутылку коньяку и распили ее вдвоем.

* * *

Я сделался наконец записным литератором: писал для журнала г. Краевского повести и разбирал, по его просьбе, разные литературные книжки, сам удивляясь своей критической смелости. Я работал охотно и бескорыстно, даже и не помышляя о том, что труд мой стоит чего-нибудь. Я вполне удовлетворялся уже одним тем, что видел его в печати.

Лето, проведенное мною с г. Краевским, если не сблизило, то по крайней мере коротко познакомило меня с ним. До этого я, признаюсь, был гораздо выгоднейшего мнения о его мыслительных способностях, ученых и исторических сведениях. История считалась тогда его специальностью. Многие разборы исторических книг в «Литературных прибавлениях», обратившие на себя внимание и приписывавшиеся перу г. Краевского, к удивлению многих, оказались принадлежавшими господину Савельеву-Ростиславичу, который часто забегал к г. Краевскому.

В течение всего лета мы вели жизнь чрезвычайно однообразную: вставали около 10 часов, пили кофе на балконе и потом принимались за работу. Я писал повести для «Литературных прибавлений», г. Краевский переводил, неизвестно для чего, какую-то драму Казимира Делавиня. В три часа мы отправлялись обыкновенно гулять, а в четыре часа садились обедать; после обеда я отправлялся на острова, или на Черную речку, или вместе с г. Краевским к Плетневу, жившему неподалеку от нашей дачи.

Г. Краевский, как я уже заметил, находился в очень коротких сношениях с Плетневым, виделся с ним в течение лета почти ежедневно и нередко сопровождал его в отдаленных прогулках. Петр Александрович был тогда неутомимым ходяком. Он выхаживал по крайней мере верст до 25 утром и вечером.

Г. Краевский, отличавшийся аккуратностью во всем и крайнею заботливостью о своем здоровье, начал не только подражать Плетневу, но даже соперничать с ним относительно ходьбы. Вообще, по моему наблюдению, г. Краевский в юные свои годы легко подчинялся на время тем, с которыми сходилась и которых почему бы то ни было принимал за авторитеты. Он усваивал себе нередко их образ мыслей и подражал им даже во внешних мелочах, стараясь, впрочем, сохранить перед своими знакомыми вид строгий и самостоятельный. Инициативы у него не было никакой... Нельзя, впрочем, не заметить, что он пытался сделать некоторые грамматические перевороты и между прочим дать большую самостоятельность букве ж. Все это, однако, не принялось и вскоре забыто было самим изобретателем.

Соболевский звал в это время Краевского – Краежским, петербургским журналистом...

Довольный моими литературными знакомствами и связями, я давно уже мечтал о том, чтобы устроить у себя литературный вечер в большом размере и пригласить к себе всех литераторов.

При первой возможности я осуществил мою мысль: созвал почти всех, за исключением Булгарина и Греча, закупил вин, осветил комнаты, даже усталил их цветами, и заказал ужин. Я жил тогда в Грязной улице, в доме Диммерта, где впоследствии останавливался у меня Белинский.

Часу в девятом вечера комнаты мои были набиты битком. В кабинете (я это очень живо помню) расположились Полевой, барон Розен, Краевский и Бенедиктов... Надобно заметить, что перед этим только что появились разборы стихотворений Бенедиктова: в «Телескопе» – Белинского, в «Литературных прибавлениях» – Краевского (в то время еще все статьи в «Литературных прибавлениях» приписывали самому редактору) и Полевого в «Сыне отечества», редакцию которого он принял, переселившись в Петербург. Г. Краевский безусловно восторгался поэтом, а Полевой почти повторил о нем то, что высказал Белинский в «Телескопе».

Появление стихотворений Бенедиктова произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова. О статьях Полевого и Белинского они отзывались с негодованием и были очень довольны статьею профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Жуковский, говорят, до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте? – отвечал, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавлял более... Но обратимся к моему литературному вечеру.

Полевой и барон Розен, заклятые враги, к моему удивлению, очень мило разговаривали у моего письменного стола и объяснились в уважении и любви друг к другу. Г. Краевский и Бенедиктов сидели неподалеку от стола на диване в ту минуту, как появился А. Ф. Воейков. Я пользовался особенным расположением его за повесть мою, напечатанную в «Телескопе».

Воейков был среднего роста и сутуловат; голова его, несмотря на преклонные лета, покрыта была густыми вьющимися черными волосами с небольшою проседью, черты лица его были недурны и правильны, но черные масляные глаза его, резко и злобно сверкавшие исподлобья, придавали лицу его что-то неприятное, особенно когда он старался смягчить их выражение. Он прихрамывал и потому всегда ходил с палкой. Обыкновенный костюм его был темносерый сюртук с голубой ленточкой в петличке от медали 12 года. Говорил он немного в нос.

Воейков остановился посреди кабинета, обозрел его кругом исподлобья и произнес, обращая ко мне:

– Глазам своим не верю... Какая роскошь! С каким вкусом все убрано!.. Неужели это ваша квартира? А я думал, судя по отзывам об вас Булгарина (Воейков намекал на разные выходки против меня в «Пчеле»), что вы живете в какой-нибудь лачужке... Прекрасно! прекрасно! – повторял он, озираясь и крепко сжимая мне обе руки...

Потом, когда я отошел от него, он бросил взгляд исподлобья на присутствовавших и стуча своей палкой направился прямо к дивану, на котором сидели Г. Краевский с Бенедиктовым.

– Андрей Александрыч! Владимир Григорыч! – воскликнул он, переходя взглядом от одного на другого. – Боже мой! как я рад вас видеть!. С каким удовольствием, Андрей Александрыч, я прочел ваш прекрасный, доказательный, умный разбор превосходных стихотворений Владимира Григорыча... Дельно, дельно! умно, умно!.. Это уж не то, Владимир

Григорыч (он пожал руку Бенедиктова и искоса взглянул на Полевого), что другие дураки об вас пишут... Вы не смотрите на них, это завистники (и он махал рукой в сторону Полевого). Вы великой поэт, великой!..

Я так и обмер. Полевой все видел и слышал. Я заметил, что даже лицо его, при словах Воейкова, передернулось. Я боялся, что дело дойдет до объяснений и неприятностей, однако через десять минут Воейков обнимал Полевого, называл его почтеннейшим Николаем Алексеичем и чуть не объяснялся ему в любви, а Николай Алексеич ежился, ухмылялся и корчил приятные гримасы.

Тогда, по неопытности моей, я удивлялся этому. Такое лицемерие казалось мне в людях избранных необъяснимым. Теперь я уже ничему не удивляюсь.

Кукольник явился позже всех, и в дурном расположении. Он составил тотчас же свой небольшой кружок, подцепил Якубовича, Гребенку и еще двух или трех человек и начал им, по своему обыкновению, проповедывать что-то.

Гребенка слушал Кукольника с внимательностью, моргая глазами и покачивая головой...

Когда речь выходила сколько-нибудь из обыкновенной житейской колеи и принимала чуть-чуть отвлеченный характер, хотя бы дело шло об искусстве, Гребенка совсем терялся и только моргал глазами и покачивал головою. Но к людям, трактовавшим об отвлеченных предметах, он питал глубочайшее уважение, особенно к критикам, – боялся их, ухаживал за ними и угощал их на своих вечерах наливочками и малороссийским салом с необыкновенным добродушием. Таковы были впоследствии отношения его к Белинскому, которого он уважал от страха.

Якубович был не таков.

Отвлеченные разговоры не пугали его. Когда кто-нибудь при нем пускался в такого рода разговоры, он улыбался и шептал кому-нибудь из своих приятелей: «Ну, понес ерунду!»

– Терпеть не могу, – несколько раз говаривал он мне, – когда человек занесется в какие – то превыспренние сферы и начнет молотить. Все это пустяки; пусть там кричат, что он умен, образован... а дайте ему написать какое-нибудь стихотворение, попробуйте – и плохонького не сумеет написать, ей богу! – а мы хоть и не пускаемся в эти превыспренности, а стихи пишем, кажется, недурно. Сам Пушкин их хвалит и просит у меня.

Однако перед Кукольником он пасовал:

– Ну, этот может врать, что угодно, – говорил он, – по крайней мере поэт.

К отвлеченным разговорам Гребенка и Якубович причисляли разговоры о политике.

Литераторов 30-х годов вообще не интересовали никакие политические европейские события. Никто из них никогда и не заглядывал в иностранные газеты. Они рассуждали так, что каждый должен заниматься своим делом, не вмешиваясь в чужое.

– Ну, что мне за дело, – говаривал Якубович, – что французы передрались между собой, прогнали одного короля, взяли другого, – мне от этого ни тепло, ни холодно. Нашему брату, литератору, выход какого-нибудь «Северного цветка» интереснее во сто раз всех этих политических известий. Да провались Франция хоть сквозь землю. Что мне до этого за дело?..

Якубович долго слушал Кукольника, потом подошел ко мне...

– Ну, я вам скажу, Кукольник такую околесную несет, что боже упаси. Я слушал, слушал, отошел да плюнул – ничего не поймешь, а все оттого, что избаловали, захвалили,

пятнадцатирублевый лафит выставляют перед ним – вот он и заносится. Велите-ка мне дать рюмку водки: что-то под ложкой щемит...

Из нелитераторов на моем литературном вечере были актер Дюр, мой друг и товарищ М. А. Языков, неизбежный Кречетов и наш домашний доктор Яновский – молодой человек из семинаристов. Яновский благоговел перед всеми чиновными отличиями и титулами и замирал при виде генерала. Всякое новое для него явление поражало его и приводило в ошеломление. Тупых и рабских натур я встречал у нас много, но такой тупости и рабства, как у Яновского, найти было трудно.

Яновский в первый раз в жизни видел вблизи актера и литераторов и с любопытством рассматривал каждого из них, как какого-нибудь зверя... Он беспрестанно подходил ко мне с нелепейшими вопросами.

– Это Дюр? – спрашивал он, исподтишка, указывая на Дюра.

– Да.

– Тот самый Дюр, который играет на сцене?

– Тот самый.

– Скажите пожалуйста! – восклицал Яновский, пожирая Дюра глазами. – Странно! – ничего в нем нет необыкновенного: и ходит и говорит, как все...

– А вот это кто? – спрашивал он через несколько времени, – такой приятной наружности... вот направо разговаривает с другим...

– Это Плетнев, – отвечал я.

Яновский вытянул длинное – а!

– Действительный статский советник?

– Да.

– Скажите пожалуйста!.. – И он качал головою и, смотря на Плетнева с некоторою робостью, невольно застегивал пуговицу своего виц-мундира.

Когда у меня умерла дочь, Яновский говорил в утешение моей жене:

– Не огорчайтесь... Что же делать! Вот на-днях умерла дочь у NN – и еще на руках у него... а действительный статский советник! Что ж делать! Смерть не щадит и генеральских детей...

Кречетов, познакомившийся через меня с г. Краевским и еще кой с кем из молодых литераторов, которые посматривали на него свысока, отзывался о них очень неблагоприятно...

– Все эти господа – это-это-это... – и он не прибирал слова и махал рукой, – они просто не стоят ногтя с мизинца моего умного, милого, доброго Дельвига.

Полевой, которого он очень уважал, как я уже заметил, произвел на него неприятное впечатление.

– Даже не хочется верить, что это Полевой! – повторял он, – это какой-то сиделец с гостинодворскими ужимками...

Кречетов шатался, как тень, из комнаты в комнату, иногда садился к какому-нибудь кружку и прислушивался, и потом, взяв под руку Языкова, шептал ему:

– Как все это, мой добрый Михайло Александрыч, далеко от нашего прежнего литературного кружка, когда мы, бывало, сходились – Дельвиг, Подолинский, я... Сколько, бывало, высказывалось на наших сходках серьезного, дельного, этаких питательных вещей для ума, а от этих господ – ни шерсти, ни молока... В целый вечер ни одного умного слова не услышал...

Кречетов оживился только за ужином, и после ужина, расхваливая его мне, прибавил, что эти господа не стоят такого ужина, что они не умеют оценить его, что для этого надобно иметь тонкий гастрономический вкус, и прочее.

Я очень боялся какой-нибудь неприятной истории, сведя людей, враждовавших между собою и редко встречавшихся, однако все прошло благополучно.

Воейков до такой степени сошелся с Полевым, что сел рядом с ним за ужином.

Он говорил ему:

– За что нам ссориться, Николай Алексеич? Прошное забудем; я ведь высоко ценю ваши дарования, ваши глубокие познания. К тому же теперь вы наш, петербургский.

И Полевой с различными ужимочками отвечал:

– И я также, Александр Федорыч, душевно предан-с вам. Конечно, это всё были недоразумения между нами-с.

И Воейков протягивал к Полевому свои объятия и лобызал иудиным лобзанием того, про которого он писал в своем «Сумасшедшем доме»:

* * *

Самохвал, завистник жалкой,
Надувало ремеслом,
Битый рюриковой палкой
И санскритским батошьем.
Подл как раб; надут как барин.
Но, чтоб разом кончить речь:
Благороден, как Булгарин,
Бескорыстен так, как Греч!

Краевский дичился Кукольника и искоса посматривал на него, несмотря на то, что Кукольник приятно заигрывал с ним. С Плетневым и князем Одоевским Кукольник обращался с сухою вежливостью. Вообще от друзей Пушкина он отдалялся, да и они, кажется, не желали сближаться с ним...

Полевой, с которым я познакомился незадолго перед моим литературным вечером, которого еще с пансиона привык уважать, подействовал на меня неприятно. По «Телеграфским» статьям я составил в голове идеал его. Я воображал Полевого человеком смелым и гордым, горячо и открыто высказывающим свои убеждения – и увидел в нем какого-то робкого, вялого, забитого господина, с уклончивыми ужимками, всем низко кланявшегося, со всеми соглашавшегося, как будто не имевшего ни малейшего чувства достоинства, даже как-то оскорбительно, для почитавших его, унижавшегося передо всеми...

Он наговорил мне в этот вечер столько любезностей и неуместных вежливостей, так подобострастно смотрел на меня, так лицемерно жал мне руки, что даже возбудил к себе неприятное чувство.

Раз вечером, когда я сидел у него в кабинете (он жил тогда на Песках, в доме, принадлежавшем некогда Д. М. Княжевичу), дети его пришли с ним попрощаться. Он перекрестил их и благословил, потом встал со стула, поклонился мне и сказал:

– Извините, Иван Иванович, – уж у меня такая привычка-с...

Какое странное извинение!

Тяжело было смотреть на такое страшное падение человека, так смело и твердо державшего свое знамя в «Телеграфе», человека, который был столько лет грозою пошляков и рутинеров, бичом всех предрассудков и всего рабского и подлого. Глядя на него, невольно приходили в голову его слова, вставленные им в уста шекспировского Гамлета:

«За человека страшно!»

Я вступил в литературный круг, как в какое-нибудь святилище, с благоговейным чувством. Я думал, что если не все, то по крайней мере избранные из литераторов – люди возвышенные, необыкновенные, непричастные никаким мелким страстишкам и слабостям обыкновенных смертных, – и должен был горько разочаровываться с каждым днем.

Вера моя в мои литературные кумиры поколебалась особенно с обеда, который Воейков заставил дать купца Жукова при открытии его типографии, управление которой Воейков взял на себя.

Воейков, истощавший, по обыкновению, все свое лицемерие и лесть перед людьми, из которых он думал извлечь для себя какую-нибудь пользу, уверявший их в своей высокой честности и бескорыстии, начал ухаживать с некоторого времени за купцом Жуковым (В. Г.), дела которого были тогда в самом цветущем состоянии. От «Русского инвалида» Воейков получал весьма немного. У него были побочные дети от женщины, которая исправляла у него должность ключницы или кухарки, на которой он женился незадолго перед своей смертью, и хотя он содержал семейство свое плохо, но ему все-таки недоставало денег, и он часто жаловался на свое стесненное положение.

Репутация Воейкова между литераторами и людьми близкими к литературе была не блистательная. На него смотрели почти так же, как на Булгарина. Из литераторов один только Владиславлев находился с ним в дружеских сношениях, но и тот отзывался о нем невыгодно и не давал ему денег взаймы. Владиславлев, тщетно уговаривавший Воейкова не жениться, принужден, однако, был присутствовать, по его просьбе, на свадьбе как свидетель и рассказывал о ней много комического. Жуковский, князь Вяземский и другие старые приятели Воейкова, прежде помогавшие ему, совсем почти отказались от него. Многие поддерживали с ним связи только из боязни попасть в его «Сумасшедший дом».

Потерявший всякое доверие и участие к себе между прежними своими приятелями, Воейков обратился к людям богатым и далеким от литературы...

Жуков попался на его удочку.

Воейков и в глаза и за глаза прославлял Жукова, называл его честнейшим, умнейшим, просвещеннейшим русским человеком; твердил ему, что он частичку из своих богатств должен употребить, как меценат, на пользу литературы, и уговорил его дать капитал на заведение типографии, прибавив, что он охотно возьмется, несмотря на свои преклонные лета и многочисленные литературные занятия, управлять этой типографией и блюсти выгоды почтеннейшего Василья Григорьича.

Самолюбие Жукова не устояло против грубой лести Воейкова. Жуков дал ему деньги на первое обзаведение и открытие типографии. Воейков уверил его при этом, что для придания большей известности новой типографии необходимо дать угощение в ней всем литераторам, начиная с И. А. Крылова и Жуковского. И на обед были выданы деньги Воейкову.

Я получил приглашение вместе с другими. Квартиру для типографии Воейков нанял в переулке близ Сенной площади, в грязном доме, пользовавшемся самою печальною известностию: во время холеры 1831 года в этом доме была устроена холерная больница, и из окон ее взбунтовавшийся народ выбрасывал на улицу докторов. В самой большой из зал типографии был накрыт стол покоем, человек на семьдесят.

К четырем часам литераторы начали съезжаться и сходиться. Воейков принимал всех как хозяин, очень довольный тем, что Крылов, Жуковский и Вяземский не отказались от приглашения. За исключением Булгарина, Сенковского и Греча – заклятых врагов Воейкова – на этом обеде присутствовали все до последнего фельетониста, накануне напечатавшего свою статейку в первый раз.

Крылов, Жуковский и Вяземский были посажены, конечно, во главе стола. Около них Плетнев, князь Одоевский и г. Краевский, который при первом появлении в залу озабочился, чтобы занять место как можно поближе к ним. Кукольник сел на другой конец стола со своими литературными друзьями и посадил возле себя Полевого. Остальные расселись как случилось.

Воейков не садился за стол. Он любезничал с своими гостями и угощал их. Воейков всех предварительно познакомил с Жуковым и за обедом оставил ему место около литературных знаменитостей.

За обедом между прочими присутствовали два какие-то монаха. Когда все уселись за стол, в зале появились квартальный надзиратель и два жандармских офицера. Явились ли они для поддержания, в случае нужды, порядка или принадлежали к знакомым Жукова и Воейкова и были ими приглашены? – это осталось неизвестным. Надобно думать, что они явились просто для порядка, потому что за стол не садились, а только по временам заглядывали в залу и потом исчезали в другой комнате, где в свою очередь угощаются были будущие фактор и наборщики.

Кушаньям не было числа, но обед был из рук вон безвкусен и плох. Вино также не отличалось доброкачеством, но уж зато лилось через край. Между бесчисленною, грязною и полупьяною прислугою бегали какие-то ребятишки и также прислуживали гостям. Оказалось, что это были побочные дети Воейкова.

Воейков привел ко мне одного из этих мальчиков и, указывая на него, сказал:

– Я знаю, что вы охотник до портера, так вот обратитесь к моему Федюше. Он вам принесет все, что угодно. Слышишь, Федюша?.. Ты и не отходи от этого господина (он указал на меня), стой за его стулом и исполняй его приказания, а теперь сбегай да принеси-ко бутылочку портеру самого лучшего.

Вино действовало; в конце обеда начались дружеские излияния, различные объяснения, объятия, примирения, уверения в любви и уважении. Все, даже самые ожесточенные враги, смотрели в умилении друг на друга посоловевшими глазами. Полевой уверял Кукольника в том, что он один из самых пламенных приверженцев и почитателей его таланта. Кукольник кричал, что имя Полевого никогда не забудется в истории русской литературы; они при этом целовали друг друга и пили брудершафт... Все это было довольно гадко.

Шум и крики увеличивались, сливаясь в безобразный и нестройный гул. Жуковский, Крылов, Вяземский, Одоевский и многие другие с последним блюдом встали из-за стола и уехали.

– Ну, и хорошо сделали! – произнес Кукольник, махнув рукой на удалявшихся. – Мы обойдемся и без этих аристократов. А вас их! Правда, Полевой?

– А вас!.. – отвечал ухмыляясь Полевой, сладко глядя в глаза Кукольнику, и вскрикнул: – ура, Кукольник!

– Ура, Кукольник! Ура, Полевой! – закричали кругом их.

Барон Розен, еле державшийся на ногах, расхаживал по зале, кричал, что он создаст настоящую русскую драму, что «Ифигению» Гете может перевести один Жуковский под его руководством, натыкался на всех, обнимался со всеми и даже плакал.

Между тем совсем смерклось, и залу осветили двумя или тремя плохо горевшими лампами.

Пропитанная спиртным запахом и табачным чадом, она представляла неприятное зрелище. Столы были уже сдвинуты. Пьяные тени шатались и бродили в этом чаду, освещенные тусклым и красноватым светом ламп, крича, болтая всякий вздор и натыкаясь друг на друга. Полевого и Кукольника начали качать, каким-то образом даже Розен очутился потом в объятиях Кукольника. Кукольник кричал:

– Ты немец, но талантливый немец... в твоей «Осаде Пскова» есть дивные места... Ну, братцы, выпьемте за здоровье Розена!.. Воейков! вели подать вина!..

Квартальный и жандармские офицеры издалека посматривали на все это с подозрительным удивлением.

Хромой Воейков, стуча своею палкою, явился в сопровождении лакея, который нес шампанское. Воейков начал обнимать Кукольника и Розена и говорил, что он счастлив, что на его празднике совершилось примирение двух наших первых драматических писателей. Кукольник провозгласил в десятый раз тост за процветание новой типографии.

Литературная оргия окончилась пляской.

Полевой, Кукольник и Яненко пустились вприсядку. Около них составился кружок, рукоплескавший им и кричавший: bravo, bis!..

Что происходило затем – я не знаю; я не дождался конца пляски. Мне было больно и оскорбительно за Полевого.

Через несколько дней после этого Степанов принес к г. Краевскому отличный карикатурный рисунок, на первом плане которого были Полевой и Кукольник, отхватывающие вприсядку...